

Ориентиры. Интервью

1983

Вопрос: В современной социологии сосуществуют многие «школы» со своими парадигмами и различными методами, приверженцы которых порой весьма остро полемизируют друг с другом. В своих работах Вы стремитесь преодолеть эти противостояния. Можно ли сказать, что цель Ваших исследований заключается в развитии синтеза, ведущего к новой социологии?

Пьер Бурдьё: Социология сегодня полна ложных оппозиций, которые моя работа часто побуждает меня преодолевать, хотя я и не ставлю своей целью это преодоление. Эти оппозиции являются реальными делениями социологического поля; они имеют под собой социальный фундамент, однако не имеют никакого научного. Возьмём наиболее очевидные образчики, как, например, оппозицию между теоретиками и эмпириками, или же между субъективистами и объективистами, или между структурализмом и некоторыми формами, феноменологии. Все эти оппозиции (а есть ещё много других) кажутся мне совершенно фиктивными и в то же время опасными, поскольку приводят к увечьям. Наиболее типичный пример — оппозиция между подходом, который можно назвать структуралистским, имеющим целью зафиксировать отношения объективные, не зависящие от сознания и воли индивидов, как говорил Маркс, и подходом феноменологическим, интеракционистским или этнометодологическим, имеющим целью зафиксировать опыт, который агенты реально вершат в интеракциях, в социальных контактах, и вклад, который они «вносят в мыслительные конструкции и в практику социальных реалий. Большинство этих оппозиций обязаны частью своего существования усилиям, направленным на установление в теории положений, связанных с обладанием различными формами культурного капитала. Социология в её нынешнем состоянии — это наука с очень широкими амбициями, и легитимные способы заниматься ей чрезвычайно разнообразны. Можно заставить сосуществовать под именем социологов и людей, занимающихся статистическим анализом, и других, разрабатывающих математические модели, и третьих, описывающих конкретные ситуации, и так далее. Все эти виды компетенции редко соединяются в одном человеке. Одна из причин деления, которое стремятся установить в теоретических оппозициях, это факт, что социологи претендуют навязать как единственный легитимный способ заниматься социологией тот, который наиболее доступен для них самих. Почти неизбежно «частичные», они пытаются навязать частичную дефиницию своей науки: я имею в виду тех цензоров, которые применяют репрессивные и кастрирующие меры, ссылаясь на эмпирию (тогда как сами даже не ведут эмпирических исследований), и под видом придания большей ценности скромной осторожности в противовес удали теоретиков и с ожесточением, поддерживающим позитивистскую методологию, требуют от эпистемологии доказательств, чтобы сказать, что не нужно заниматься тем, чего они сами делать не умеют, и чтобы навязать другим собственные пределы. Иными словами, я думаю, что значительная часть работ, называемых «теоретическими» или «методологическими», являются лишь

идеологией, подтверждающей частичную форму научной компетенции. И анализ поля социологии несомненно показал бы, что имеется сильная корреляция между типом капитала, которым располагают различные исследователи, и разновидностью социологии, которую они защищают как единственно легитимную.

Вопрос: Именно в этом смысле Вы говорите, что социология социологии есть одно из первых условий социологии?

Пьер Бурдьё: Да, но социология социологии имеет также другие достоинства. Например, простой принцип, согласно которому каждый занимающий какую-то позицию заинтересован в том, чтобы увидеть пределы возможностей занимающих другие позиции, что позволяет извлечь выгоду «из» критики, объектом которой те становятся. Если бы взять, например, отношения между Вебером и Марксом, которых всегда изучают по-школярски, можно посмотреть на них иначе и спросить себя: в чём и почему один мыслитель позволяет видеть правду другого и наоборот. Оппозиция между Марксом, Вебером и Дюркгеймом, ритуально возобновляющаяся в учебных курсах и диссертациях, скрывает, что единство социологии заключается, может быть, в том пространстве возможных позиций, антагонизм которых, воспринимаемый как таковой, предлагает возможность собственного преодоления. Очевидно, например, что Вебер увидел то, что не видел Маркс, но очевидно ещё и то, что Вебер смог увидеть неувиденное Марксом потому, что Маркс видел то, что он видел. Одна из значительных трудностей социологии в том, что очень часто нужно включать в науку то, в противовес чему первоначально выстраивали научную истину. Взамен иллюзии государства-арбитра Маркс создал понятие государства как инструмента господства. Но, вопреки разочарованию, которое производит марксистская критика, нужно спросить себя вместе с Вебером, как государству, будучи тем, что оно есть, удаётся внушить признание своего господства, и не нужно ли включать в эту модель, то, против чего она сконструирована, то есть спонтанное представление о государстве как о чём-то легитимном. И можно осуществить такую же интеграцию авторов, кажущихся антагонистами, по поводу религии. Я сказал бы — но не из любви к парадоксам — что Вебер реализовал марксистскую в лучшем смысле этого слова интенцию в той области, где её не осуществил Маркс. Думаю, в частности, что Маркс был далеко не силён в социологии религии. Вебер создал настоящую политическую экономию религии; точнее, он придал мощь материалистическому анализу религиозного факта, не разрушая собственно символического характера феномена. Когда Вебер устанавливает, например, что церковь определяется с помощью монополии на легитимную манипуляцию средствами спасения, то, вместо того чтобы производить одно из тех чисто метафорических превращений экономического языка, которым часто пользовались во Франции в последние годы, он получает исключительно познавательный результат. Можно делать такого рода упражнения как по поводу прошлого, так и по поводу ныне существующих оппозиций. Как я только что сказал, каждому социологу было бы интересно выслушать своих противников в той же мере, в какой те заинтересованы в том, чтобы увидеть то, что он не видит, пределы его видения, которые, по определению, он не ухватывает.

Вопрос: На протяжении многих лет «кризис социологии» был излюбленной темой среди социологов. Ещё недавно указывали на «взрыв социологических кругов». В какой степени этот «кризис» был научным?

Пьер Бурдьё: Мне кажется, что современная ситуация, которая в действительности часто описывается как ситуация кризиса, вполне благоприятна для научного прогресса. Я считаю, что социальные науки своей озабоченностью о респектабельности, о том, чтобы предстать перед другими и собой наукой «не хуже других», разработали ложную парадигму. Иначе говоря, своего рода стратегический альянс между Колумбией и Гарвардом, треугольник Парсонс, Мертон и Лазарсфельд, на котором покоилась на протяжении многих лет иллюзия об объединённой социальной науке, своего рода интеллектуальный холдинг, который проводил почти сознательную стратегию идеологического господства, в конце концов рухнул, и я считаю, что это значительный прогресс. Чтобы в этом удостовериться, достаточно было бы посмотреть, кто кричит о кризисе. По моему мнению, это те, кто имел дивиденды от такой монополистической структуры. Значит, во всех полях — и в социологическом поле как в любом другом — существует борьба за монополию легитимности. Такая книга, как, например, книга Томаса Куна [1] о научных революциях произвела эффект эпистемологической революции (каковой она, на мой взгляд, совершенно не является) в глазах части американских социологов, поскольку послужила инструментом борьбы, против этой ложной парадигмы, которую определённое число людей, поставленных в интеллектуально доминирующую позицию в силу экономического и политического господства их нации и их позиции в университетском поле, смогли заставить признать достаточно широко во всём мире.

Следовало бы детально проанализировать установившееся разделение труда по доминированию. С одной стороны, имелась эклектическая теория, базирующаяся на избирательной реинтерпретации европейского наследия и предназначенная сделать так, чтобы история социальных наук начиналась в Соединённых Штатах Америки. Некоторым образом Парсонс был для европейской социологической традиции тем же, кем Цицерон для греческой философии: он брал оригинальных авторов, переводил их на немного аморфный язык, производя синкретическое сообщение, академическую комбинацию из Вебера, Дюркгейма и Парето, но, конечно, без Маркса. С другой стороны; существовала венская эмпирия Лазарсфельда, разновидность неопозитивизма, при ближайшем рассмотрении относительно тупиковая в теоретическом плане. Об отношении же Мертона можно сказать, что из них троих он один даёт некую школярскую разработку, небольшой синтез, простой и ясный, с его теориями среднего уровня. Это настоящее разделение компетенции в юридическом смысле. И всё это образовывало социально очень мощный ансамбль, который смог заставить поверить в существование некой парадигмы так же, как в естественных науках. Здесь вмешивается то, что я называю «эффект Гершенкрона». Гершенкрон объясняет, что капитализм никогда не принимал в России такой формы, в какой он существовал в других странах, по той простой причине, что начался там с некоторым запозданием. Социальные науки обязаны значительным числом своих характеристик и своих трудностей тому факту, что они также начали свой путь гораздо позже других, так что, например, они могут использовать сознательно или бессознательно модель более продвинутых наук, чтобы имитировать свою научность.

В 1950–1960 годах имитировали единство науки, будто бы наука существует лишь тогда, когда есть единство. Социологию упрекают в том, что она разбросана, конфликтна. И социологам настолько внушили идею, что они не учёные, раз находятся в конфликте, в борьбе мнений, что у них появилась ностальгия по объединению — настоящему или

ложному. В действительности ложная парадигма Восточного побережья Соединённых Штатов была какой-то ортодоксией... Она имитировала *communis doctorum opinio*, которое было свойственно не науке, особенно на её начальных этапах, но средневековой церкви и юридическим установлениям. Во многих случаях социологический язык 1950–1960-х годов изловчался на невероятный трюк говорить о социальном мире, как бы не говоря о нём. Это был язык сопротивления, в смысле Фрейда, отвечающий фундаментальному запросу тех, кто господствовал в области речей о социальном мире, запросу, заключавшемуся в потребности отстранить, нейтрализовать. Достаточно почитать американские журналы 1950-х годов: половина статей посвящена аномии, эмпирическим или псевдотеоретическим вариациям на фундаментальные концепты Дюркгейма и так далее. Это было каким-то пустым и школярским обстругиванием социального мира, с очень небольшим эмпирическим материалом. В частности, меня поразило у самых разных авторов использование концептов ни абстрактных, ни конкретных, которые нельзя понять, не имея представления о конкретной отсылке, которую держит в голове тот, кто их использует. Они думали *jet sociologist* [2], а говорили «профессор-универсалист». Ирреальность высказываний достигала вершины. По счастью, имелись исключения, как, например, Чикагская школа, которая говорила о трущобах, об уличных компаниях, описывала банды или среду гомосексуалистов, короче, разные типы среды и реальных людей... в маленьком треугольнике Парсонс — Лазарсфельд — Мертон ничего не было видно.

Таким образом для меня «кризис», о котором сегодня говорят, это кризис ортодоксии, а быстрое размножение ереси, по моему мнению, есть прогресс в сторону научности. И не случайно освободилось теоретическое воображение, снова открылись все возможности, которые предоставляет социология. Теперь мы снова имеем дело с полем, в котором есть борьба, имеющая некоторые шансы перерасти в научную борьбу, то есть в регулируемые конфронтации, такие, победить в которых может лишь учёный: больше невозможно будет побеждать, лишь неясно рассуждай по поводу аспирации и конечных целей и об аномии, или представляя теоретически и, следовательно, эмпирически плохо сконструированные статистические таблицы про «отчуждение» workers.

Вопрос: В социологии имеется тенденция к очень сильной специализации, иногда даже чрезмерной. Не является ли это тоже эффектом Гершенкрона, о котором Вы только что говорили?

Пьер Бурдьё: Совершенно верно. Хотят имитировать продвинутые науки, в которых имеются очень точные и очень маленькие объекты исследований. Именно эта неумеренная специализация поощряется позитивистской моделью, с помощью своего рода подозрительности в отношении любой общей амбиции, воспринимаемой как остатки глобалистской амбиции философии. В действительности мы всё ещё находимся в фазе, когда абсурдно отделять, например, социологию образования от социологии культуры. Как можно заниматься социологией литературы или социологией науки без отсылки к социологии системы образования? Например, когда занимаются социальной историей интеллектуалов, почти всегда забывают принимать в расчёт структурную эволюцию системы образования, которая может привести к эффекту «перепроизводства» дипломированных специалистов, непосредственно влияющих на интеллектуальное поле, как на уровне производства — с появлением, например, «Богемы», социально и

интеллектуально разрушительной, — так и на уровне потребления: качественное и количественное изменение читательской публики. Очевидно, специализация также отвечает чьим-то интересам. Это хорошо известная вещь: например, в статье об эволюции права в средневековой Италии Гершенкрон показывает, что как только юристы завоевали автономию по отношению к правителям, каждый начал разделять специализацию таким образом, чтобы быть, скорее, первым в своей деревне, чем вторым в Риме. Эти два соединённых эффекта привели к тому, что юристы специализировались сверх всякой меры и утратили интерес к любому относительно общему исследованию, забывая, что в естественных науках вплоть до Лейбница и даже до Пуанкаре, великие учёные были одновременно философами, математиками и физиками.

Вопрос: Как и многие социологи, Вы не слишком благоволите философам. Тем не менее Вы часто ссылаетесь на таких, философов как Кассирер или Башляр, которых, социологи вообще-то игнорируют.

Пьер Бурдьё: Действительно, мне случается задеть философов, поскольку я многого жду от философии. Социальные науки — это одновременно и новые способы мышления, иногда непосредственно конкурирующие, с философией (я имею в виду всю науку о государстве, о политике и тому подобное), и объекты мышления, в которых философия могла бы найти почву для размышления. Одной из функций философов науки могло бы стать обеспечение социологов инструментами для защиты от навязчивости позитивистской эпистемологии, являющейся одним из аспектов эффекта Гершенкрона. Например, когда Кассирер описывает генезис способа мышления и понятий, которые вводятся в оборот современной математикой или физикой, он совершенно отрицает позитивистское воззрение, показывая, что наиболее продвинутые науки сумели сформироваться — и совсем недавно — только благодаря предпочтению связей по отношению к субстанции (как силы в классической физике). Он показывает тем самым, что под именем научной методологии нам предлагают не что иное, как идеологическое представление легитимного способа заниматься наукой, которое в научной практике не соотносится ни с чем реальным.

Другой пример. Случается, особенно в англосаксонской традиции, что исследователя упрекают в использовании понятий, которые функционируют как «дорожные указатели» (signposts), указывающие на феномены, заслуживающие внимания, но остающиеся порой неясными и нечёткими, даже если они заставляют задуматься и рождают ассоциации. Полагаю, что некоторые из моих понятий (я думаю, например, о признании и непризнании) входят в эту категорию. В свою защиту я мог бы упомянуть всех тех «мыслителей», столь ясных, столь прозрачных, столь убедительных, которые говорили о символизме, коммуникации, культуре, отношениях между культурой и идеологией, а также всех тех, кто затемнял, занимался оккультизмом, нагнетал эту «туманную ясность».

Но я мог бы ещё, и главным образом, апеллировать к тем, кто, как Витгенштейн, объявлял эвристической добродетелью открытые понятия, и кто вскрывал «эффект замкнутости» слишком хорошо сконструированных понятий, «предварительных определений» и прочих ложных строгостей позитивистской методологии. В очередной раз действительно строгая эпистемология могла бы освободить исследователей от принуждения, оказываемого на исследование методологической традицией, к которой часто взывают наиболее

посредственные исследователи, чтобы «подпилить когти львьятам», как говорил Платон, то есть обстругать и обесценить творения и новации научного воображения. Подозреваю, что некоторые сконструированные мной понятия могут производить туманное впечатление, если рассматривать их как продукт концептуальной работы, но сам я склонен заставлять их функционировать в эмпирическом анализе, а не позволять «крутиться вхолостую». Каждое из этих понятий (я думаю, например, о понятии поля) есть в определённой форме программа поисков и принцип избегания целой совокупности ошибок. Понятия могут — и, в некоторой степени, должны — оставаться открытыми, временными, что не означает быть неопределёнными, приблизительными или путанными. Всякая настоящая рефлексия над научной практикой свидетельствует, что такая открытость понятий, которая придаёт им характер, «заставляющий думать», и следовательно, их способность производить научный результат (показывая незамеченное, вдохновляя на проведение исследований, а не только на комментарии) есть свойство всякого научного мышления, находящегося в процессе своего становления, в противоположность науке уже сформировавшейся, над которой размышляют методологи и все те, кто после драки придумывает правила и методы, скорее вредные, чем полезные. Участие исследователя может заключаться в целом ряде случаев в том, чтобы привлечь внимание к проблемам, к чему-то, что не замечалось, поскольку было слишком очевидным, слишком ясным, потому что, как говорят французы, «это бросалось в глаза». Например, понятия «признание» и «непризнание» были введены вначале, чтобы дать имя чему-то такому, что отсутствовало в теориях власти, или было обозначено только в самом грубом виде («власть приходит снизу» и тому подобное). Они в действительности указывают направление исследований. Так, например, я рассматриваю мою работу о форме, которую принимает власть в университетах, как вклад в анализ объективных и субъективных механизмов, при помощи которых осуществляются действия символического принуждения, признания и непризнания. Одно из моих намерений при использовании этих понятий — искоренить школярское различие между конфликтом и консенсусом, которое препятствует осмысливанию любой реальной ситуации, когда искомое добровольное подчинение происходит в конфликте и через конфликт. Как же мне могли бы предложить философию консенсуса? Ведь мне хорошо известно, что доминируемые, вплоть до школьной системы, находятся в оппозиции и сопротивляются. Но в определённый исторический период борьбе доминируемых придали такую экзальтированность (до такой степени, что выражение «вести борьбу» начинало функционировать как некоторого рода гомеровский эпитет, который позволительно присовокупить ко всему, что находится в движении — к женщинам, студентам, доминируемым, трудящимся и так далее), что в конечном итоге забылось нечто, хорошо известное очевидцам, то есть то, что доминируемые являются доминируемыми и в их собственном мозгу. Вот о чём я хочу напомнить, обращаясь к таким понятиям как «признание» и «непризнание».

Вопрос: Вы настаиваете на факте, что социальная реальность — это насквозь история. Как Вы соотносите свою работу с историческими исследованиями и почему Вы так мало используете долговременные перспективы?

Пьер Бурдьё: При современном состоянии социальной науки длительная история является, как я думаю, одной из привилегированных областей социальной философии. В среде социологов это часто санкционирует общие суждения о бюрократизации, процессах рационализации, модернизации и тому подобные, которые приносят много социальных

выгод их авторам, но мало научной, пользы. В действительности, чтобы заниматься Социологией, как я её понимаю, нужно отказаться от этих выгод. Истории, нужной мне для работы, очень часто не существует. Например, сейчас передо мной стоит проблема воображения современных художников и интеллектуалов. Каким образом художник и интеллектуал автономизируются шаг за шагом и завоёвывают свою свободу? Чтобы строго ответить на этот вопрос, нужно провести крайне сложную работу. Историческое рассмотрение, которое должно было бы позволить понять генезис структур в том виде, в каком их можно наблюдать в данный момент времени в том или другом поле, осуществить чрезвычайно сложно, поскольку мы не можем довольствоваться ни туманным обобщением, основанным на некоторых документах, выдернутых случайным образом, ни терпеливым переписыванием документов или статистики, которые часто имеют пробелы в главном.

Следовательно, в полной мере совершенная социология должна, очевидно, охватывать историю структур, являющихся на данный момент завершением каждого исторического процесса. И это под угрозой натурализовать структуры и дать, например, порядок распределения благ или услуг среди агентов (я думаю, например, о занятиях спортом, но то же самое подошло бы и к предпочтениям в области кино) для непосредственного и, если можно так сказать, «натурального» выражения диспозиций, связанных с различными позициями в социальном пространстве (как раз это делают те, кто хочет установить необходимую связь между «классом» и стилем в живописи или спорте). Нужно создавать структурную историю, которая находит в каждом состоянии структуры одновременно и продукт предшествующей борьбы за трансформацию или сохранение структуры, и, через противоречия, напряжения, отношения силы, которые её конституируют, принцип последующих трансформаций. Это в какой-то мере то, что я делал, чтобы понять изменения, произошедшие в последние несколько лет в системе образования. Я отсылаю вас к главе в «Различении», названную «Классификация, деклассификация, новая классификация», в которой проанализированы социальные последствия изменения отношений между полем образования и социальным полем.

Образование — это поле, которое как никакое другое ориентировано на собственное воспроизводство, исходя из того, что помимо прочего, агенты имеют необходимую компетенцию для такого воспроизводства. Кроме этого, поле образования подчиняется внешним силам. Среди факторов, наиболее сильно влияющих на трансформацию поля образования (и в более общем виде — на все поля производства культуры), имеются те, которые последователи Дюркгейма называли морфологическими эффектами: например, наплыв более многочисленной клиентуры (и к тому же более обеднённой в культурном отношении) вызывает разного рода изменения на всех уровнях. Но в реальности, чтобы понять результаты морфологических изменений, следует учитывать всю логику поля, внутреннюю борьбу в этом корпусе, борьбу между факультетами, конфликт способностей по Канту, борьбу внутри каждого факультета, между степенями, различными уровнями профессорско-преподавательской иерархии, а также борьбу между дисциплинами. Все эти виды борьбы приобретают значительно большую трансформирующую действенность, когда встречаются с внешними процессами: например, во Франции, как и во многих странах, социальные науки, социология, семиология, лингвистика и тому подобные, которые несут в себе форму ниспровержения старой традиции «классического гуманизма» истории литературы, филологии или даже философии, нашли подкрепление в огромном числе

студентов, ориентированных на эти науки. Такой наплыв студентов вызывает рост числа ассистентов, преподавателей, доцентов и так далее. и, тем самым, рост конфликтов внутри корпуса, выражением которых отчасти были протесты мая 1968 года.

Можно видеть, как перманентные основы изменения — внутренняя борьба — становятся действенными, когда внутренние запросы снизу (со стороны приходского духовенства, преподавателей-ассистентов, направленные всегда на требование права универсальной духовной власти) встречаются с внешними запросами (со стороны мирян, студентов) часто вызываемыми, как в случае системы образования, избытком её продукции, «перепроизводством» дипломированных специалистов. Короче говоря, не нужно приписывать некую механическую эффективность морфологическим факторам. Помимо того, что эти факторы получают свою специфическую эффективность от самой структуры поля, в котором действуют, увеличение численности само по себе связано с глубокими изменениями восприятия агентами, в зависимости от их диспозиций, различных продуктов, предоставляемых образовательными институциями (учреждения, специальности, дипломы и так далее), и в то же время спроса на образование и тому подобное. Возьмём такой крайний пример: всё побуждает считать, что рабочие, которые во Франции практически не пользовались возможностями среднего образования, начиная с 1960-х годов стали; его пользователями сначала, без сомнения, по причинам юридическим, обязательного обучения до 16 лет, а потом для сохранения своей не самой низкой позиции, избежания падения до субпролетариев, для чего им нужен был минимум образования. Я думаю, что в отношении к системе образования присутствует отношение к иммигрантам и, мало-помалу — ко всей социальной структуре. Короче, изменения в поле образования определяются через взаимосвязь структуры поля образования и внешних изменений, которые детерминировали решающие изменения в отношении семьи к школе. Здесь ещё раз, чтобы избежать туманной дискуссии о влиянии «экономических факторов», нужно понять, каким образом экономические изменения вновь внедряются в трансформацию социального применения образования семьями, затронутыми этими-изменениями, например, в результате кризиса мелкой коммерции, мелкого ремесленничества или мелкособственнических сельских хозяйств.

Таким образом, один из совершенно новых феноменов — это факт, что социальные категории, которые, как в случае крестьян, ремесленников или мелких коммерсантов, очень мало использовали образовательные институции для своего воспроизводства, начали использовать их из-за необходимости реконверсии, на которую вынуждают экономические изменения; иначе говоря, когда они должны предусмотреть выход из условий, в которых они полностью располагали своим социальным воспроизводством — путём непосредственной передачи наследия. Теперь, например, в техническом образовании имеется очень большая доля сыновей коммерсантов и ремесленников, ищущих в образовательных институциях базу для реконверсии. Этот род интенсификации использования Школы социальными категориями, которые раньше её мало использовали, ставит проблемы перед социальными категориями, которые и раньше были его большими пользователями и которые, чтобы сохранить дистанцию, должны интенсифицировать свои инвестиции в образование.

Следовательно, будет осуществлена контратака посредством интенсификации спроса во всех социальных категориях, связывающих со Школой своё социальное воспроизводство; беспокойство по поводу системы образования будет нарастать (есть тысячи признаков, и среди них наиболее значимым является новая форма использования частного образования). Существует цепная реакция изменений, некоего рода диалектика аукционной надбавки в использовании Школы. Всё страшно взаимосвязано... Именно в этом сложность анализа. Это целая сеть процессов, которые сводят к линейным процессам. Перед теми, кто в предыдущем поколении имел монополию на наиболее высокий уровень образования, в высшее образование, элитные ВУЗы (Grandes Ecoles) и так далее, такой вид генерализованной интенсификации — в использовании образовательных институций — ставит очень трудные проблемы, толкая на изобретение разного рода стратегий; как следствие, эти противоречия являются исключительным фактором инновационных процессов. Способ образовательного воспроизводства — это способ статистического воспроизводства. Воспроизводится как раз относительно постоянная часть класса (в логическом смысле этого слова). Но предопределённость индивидов; кто будет падать, а кто сохранится, более не зависит только от семьи. Однако семья интересуется лишь конкретными индивидами. Если сказать какой-нибудь семье: «90% из всех людей спасутся», но ваших среди них не будет» — это ей абсолютно не понравится. Следовательно, существует противоречие между специфическими интересами семьи как корпуса и «коллективными интересами класса» (это все в кавычках, чтобы быть более кратким). Как следствие, собственные интересы семьи, интересы родителей, не желающих видеть падение своих детей ниже собственного уровня, интересы детей, не желающих быть деклассированными, которые будут переживать провал с большим или меньшим смирением или с протестом в зависимости от происхождения, приведут к чрезвычайно разным. И сверхъестественно изобретательным стратегиям, целью которых является поддержание позиции. Именно это показывает проведённый мной анализ майского движения: наибольший взрыв в мае 1968 года наблюдался там, где разлаженность между статусными ожиданиями, связанными с высоким социальным происхождением, успехами в учёбе была максимальной. Например, так случилось в социологии, которая была одной из вершин протеста (простейшим объяснением было бы сказать, что социология как наука содержит подрывные идеи). Но такое расхождение между ожиданиями и достижениями, являющееся подрывным фактором, есть неотъемлемо инновационный фактор. Не случайно большинство лидеров Мая 68 года были большими новаторами в интеллектуальной и в прочих сферах жизни. Социальные структуры — это не нечто механическое. Например, люди, которые не владеют необходимым званием, чтобы получить пост, который был им в некотором роде статусно предназначен, — те, кого называют «неудачниками», — будут стараться изменить пост таким образом, чтобы стереть разницу между ожидаемым и занимаемым постом. Все феномены «перепроизводства дипломированных специалистов» и «обесценивания званий» (следует осторожнее употреблять эти выражения) являются главными факторами инновации, поскольку противоречия, в которые выливаются эти феномены, порождают изменение. Затем, движения протеста привилегированных обладают необыкновенной двойственностью — эти люди страшно противоречивы и даже в своём подрыве институции стремятся сохранить выгоды, связанные с предыдущим состоянием институции. В традиционном анализе нацизма большая ответственность налагается на мелких коммерсантов, бакалейщиков-расистов, кретинов и тому подобных. Я же считаю, что те, кого Вебер называл «интеллектуалы-пролетароиды», очень несчастные и очень опасные

люди, сыграли очень важную и страшно разрушительную роль в течение всей истории насилия, будь то китайская культурная революция, средневековая ересь, донацистское и нацистское движения или даже Французская революция (как это показал Роберт Дарнтон по поводу Марата, например). Та же страшная двойственность была в движении Мая 68 года, и смешное, умное и немного карнавальное лицо, воплощённое в Даниэле Кон-Бендите, скрывало другое лицо движения, значительно менее забавное и симпатичное — мстительность, всегда готовая ринуться в малейшую брешь, открывающуюся перед ней...

Вы видите, что я был многословен и ответил с помощью конкретного анализа «теоретического» вопроса. Это не совсем то, чего хотелось, но я взялся за это по двум причинам. Во-первых, я смог таким образом показать, что моя концепция истории, и, в особенности, истории образовательной институции, не имеет ничего общего с изуродованным, абсурдным, «лозунговым» образом, который мне порой приписывают, исходя, как я предполагаю, из одного лишь знакомства со словом «воспроизводство». Я же, напротив, считаю, что специфические противоречия способа воспроизводства в образовательной составляющей являются наиболее важными факторами изменения современных обществ. Во-вторых, я хотел дать конкретные соображения по поводу того, о чём знает любой хороший историк: альтернативы научного рассуждения, структура и история, воспроизводство и консервация, или, в другом плане, структурные условия и единичные мотивы агентов, препятствуют построению реальности во всей её сложности. Мне кажется, в частности, что предлагаемая мной модель связи между габитусом и полем представляет единственно строгий способ вновь ввести в анализ единичных агентов и их единичные поступки, не впадая в анекдотическую ситуацию событийной истории без начала и конца.

Вопрос: В отношениях между социальными науками экономика занимает центральную позицию. Какие аспекты наиболее важны, по Вашему мнению, в отношениях между социологией и экономикой?

Пьер Бурдьё: Да, экономика является для социологии одним из наиболее важных ориентиров. Прежде всего поскольку экономика уже значительно присутствует в социологии, благодаря работам Вебера, который осуществил перевод многих мыслительных схем, взятых из экономики, в область религии, в частности. Но не у всех социологов имеются бдительность и теоретическая компетенция, как у Вебера, и экономика — один из посредников, с чьей помощью осуществляется эффект Гершенкрона, первой жертвой которого, кстати говоря, сама она и является, в особенности из-за использования, часто абсолютно неосмысленного, математических моделей. Для того чтобы математика могла служить инструментом обобщения, позволяющего путём формализации освободиться от частных случаев, нужно начинать с конструирования объекта в соответствии со специфической логикой искомого универсума. Это предполагает разрыв с дедуктивистской мыслью, свирепствующей сегодня в социальных науках. Оппозиция между парадигмой Rational Action Theory (RAT), как говорят её защитники, и той, которую предлагаю я, с теорией габитуса, заставляет вспомнить об установленной Кассирером в «Философии просвещения» оппозиции между картезианской традицией, заключающейся в рациональном методе как процессе, ведущем от принципов к фактам через доказательство и строгую дедукцию, и ньютоновской традицией *Regulae philosophandi*, предписывающей

отставить чистую дедукцию в пользу анализа, который отталкивается от феноменов, чтобы подняться до принципов и до математической формулы, способной представить полное описание фактов.

Все экономисты и сам Беккер отвергли бы, конечно, замысел построить экономическую теорию *a priori*. Тем не менее, эпидемия того, что философы Кембриджской школы называли *morbus mathematicus*, производит опустошение, выходя далеко за пределы экономики. И возникло желание призвать против этого англосаксонского дедуктивизма, могущего идти рука об руку с позитивизмом, «строго исторический метод», как говорил Локк в «*Essey on Human Understanding*», которого англосаксонский эмпиризм противопоставил Декарту. Дедуктивисты, к коим можно ещё отнести лингвистов, приверженцев Хомски, часто производят впечатление игры с формальными моделями, заимствованными из теории игр, например, или из физики, не особо заботясь о реальности практики или о реальных принципах их производства. Случается даже, что, играя в математическую компетенцию, так же, как другие играют в художественную или литературную культуру, они производят впечатление безнадёжно ищущих конкретный объект, к которому можно применить ту или иную формальную модель. Конечно, и модели симуляции могут иметь эвристическую функцию, позволяя вообразить возможные способы функционирования. Но те, кто их конструировал, часто поддаются догматической попытке, которую Кант разоблачал уже у математиков и которая направлена на переход от модели реальности к реальности модели. Забывая об абстракциях, которыми они должны были оперировать, чтобы произвести свой теоретический артефакт, они выдают этот артефакт за адекватное и полное объяснение; или же заявляют о том, что действие построения модели имеет как принцип эту модель. В более общем виде они хотят повсеместно внедрить антропологию, неотступно следующую в имплицитном виде за всякой экономической мыслью.

Вот почему я считаю, что овладеть рядом научных достижений экономики можно, лишь подвергая их полному пересмотру (как я это сделал с понятиями «спрос» и «предложение») и порывая с субъективистской и интеллектуалистской философией экономического действия, которая в этом солидарна и является настоящим источником социального успеха *Rational Action Theory* или её французской версии — «методологического индивидуализма». Таково положение, например, с понятием «интерес», которое я ввёл в свою работу чтобы, помимо всего остального, порвать с нарциссическим воззрением. Согласно ему только некоторые виды деятельности — художественная, литературная, религиозная, философская и тому подобные — короче, все практики, для которых и которыми живут интеллектуалы (следует добавить виды общественной деятельности в политике или где-либо ещё), ускользают от всякой корыстной детерминации. В отличие от интереса у экономистов — природного, внеисторического, родового, интерес для меня — это инвестиция в игру, какую бы то ни было, который является условием вхождения в эту игру и одновременно создаётся и усиливается посредством игры. Следовательно, существует столько же форм интереса, сколько и полей. Это объясняет, что инвестиции, сделанные некоторыми в некоторые игры, например, в поле искусства, выглядят как бескорыстные, когда их воспринимает некто, чьи инвестиции, интересы вложены в другую игру, например, в экономическом поле (экономические интересы могут выглядеть как бескорыстные для тех, кто сделал свои инвестиции в поле искусства). Нужно каждый раз определять эмпирически социальные условия производства этого интереса, его специфическое содержание и так далее.

Вопрос: В некоторые периоды, примерно в 1968 году, Вас обвиняли в том, что Вы не марксист. Сегодня Вас обвиняют, и достаточно часто те же самые люди, что Вы всё ещё марксист или слишком привержены марксизму. Можете ли Вы уточнить или определить Ваше отношение к марксистской традиции, к трудам Маркса, в частности к тому, что касается проблемы социальных классов?

Пьер Бурдьё: Я часто напоминаю, в частности, по поводу моего отношения к Макс Веберу, что можно, думая вместе с мыслителем, думать вопреки ему. Например, я формулировал понятие поля одновременно вопреки Веберу и с Вебером, размышляя о предложенном им анализе отношений между священником, пророком и колдуном. Сказать, что можно думать одновременно вместе и вопреки мыслителю, значит радикально противоречить логике классификации, в которой существует обычай — увы, почти повсюду, но особенно во Франции — осмысливать отношение к идеям прошлого. «За» Маркса, как говорил Альтюссер, или «против» Маркса. Я считаю, что можно думать с Марксом вопреки Марксу или с Дюркгеймом вопреки Дюркгейму и ещё, конечно же, с Марксом и Дюркгеймом вопреки Веберу, и наоборот. И именно так движется наука.

Следовательно, альтернатива быть или не быть марксистом является совсем не научной, а религиозной. В терминах религии можно быть мусульманином или не быть им, или иметь профессию священника, *shahada*, или не иметь её. Фраза Сартра о том, что марксизм есть непревзойдённая философия нынешнего времени, конечно, не самая умная у этого очень умного в остальном человека. Существуют, может быть, непревзойдённые в философии, но не существует непревзойдённой науки. Наука, по определению, создана, чтобы быть превзойдённой. А Маркс в достаточной мере притязал на звание учёного, чтобы единственной воздаваемой ему почестью было то, что другими используется сделанное им и сделанное на основе того, что он сделал, с целью превзойти то, что он считал им созданным.

Тот особый случай, который представляет собой проблема социальных классов, считающаяся уже решённой, очевидно, чрезвычайно важна. Конечно, если мы говорим о классе, то это в основном благодаря Марксу. И можно было бы даже сказать, если в реальности и есть что-то вроде классов, то во многом благодаря Марксу, или более точно, благодаря теоретическому эффекту, произведённому трудами Маркса. Вместе с тем, я не сказал бы, что теория классов Маркса меня удовлетворяет. Иначе моя работа не имела бы никакого смысла. Если бы я пересказывал диалектику или развивал бы какую-нибудь форму этого фундаментального марксизма, произведшего фурор во Франции и в мире (Е. П. Томпсон говорил о *French flu...*) в 1970-е годы, в период, когда меня обвиняли, скорее, в том, что я вебериец или дюркгеймиец, то, вероятно, я имел бы больше успеха в университетах, поскольку комментировать проще, но думаю, что, по крайней мере в моих собственных глазах, моя работа не стоила бы потраченного времени. Что же касается классов, то я хотел порвать с реалистическим видением, которое люди обычно имеют в этой связи, что ведёт к вопросам типа: являются ли интеллигенты буржуа или мелкими буржуа? К вопросам об ограничениях, границах, к вопросам, которые обычно решаются юридическими актами. Впрочем, были ситуации, когда марксистская теория классов послужила юридическим решениям, становившимся иногда приговорами — в зависимости от того, был ли некто кулаком или нет, можно было расстаться с жизнью или спастись. Я

думаю, что, если теоретическая проблема поставлена в этих терминах, то она остаётся связанной с бессознательным намерением классифицировать, каталогизировать, со всеми вытекающими последствиями. Я хотел порвать с реалистическим представлением о классе как о чётко очерченной группе, существующей в реальности как компактная хорошо выделенная реальность, когда известно, что существуют два класса или более, или даже, сколько имеется мелких буржуа. Ведь ещё совсем недавно во имя марксизма подсчитывали мелких французских буржуа, почти не округляя!

Моя работа заключалась в том, чтобы сказать: люди размещены в социальном пространстве, они не помещаются где попало, то есть не являются взаимозаменяемыми, как-то утверждают те, кто отрицает существование «социальных классов». В зависимости от позиции, которую они занимают в этом очень сложном пространстве, можно понять логику их практики и определить, помимо многого другого, как они стремятся классифицировать других и самих себя и, по возможности, считать себя членами какого-либо «класса».

Вопрос: Другая актуальная проблема касается социальных функций социологии и «внешних» заказов.

Пьер Бурдьё: Сначала нужно спросить себя, существует ли на самом деле спрос на научные разработки в социальных науках. Кому нужна правда о социальном мире? Существуют ли люди, которым нужна правда, которые заинтересованы в правде, и, если таковые имеются, в состоянии ли они её заказать? Иначе говоря, следовало бы заняться социологией спроса на социологию. Большинство социологов, получая зарплату от государства, будучи функционерами, могут не задаваться таким вопросом. Важно, что, по меньшей мере во Франции, социологи обязаны своей свободой по отношению к заказам факту, что они оплачиваются государством. Значительная часть социологических ортодоксальных работ обязаны своим непосредственным социальным успехом тому, что они отвечали доминирующему заказу, который сводится часто к заказу на инструменты рационализации управления и доминирования, или к заказу на «научную» легитимацию спонтанной социологии доминирующих. Например, во время нашего опроса о фотографии, я прочитал результаты имеющихся исследований рынка, относящихся к данному вопросу. Я вспоминаю идеально-типичное исследование, составленное из экономического анализа, которое оканчивалось простым и неверным или, того хуже, с виду верным, уравнением, и из части, посвящённой «психоанализу» фотографии. С одной стороны — формальное знакомство, которое ставит реальность на расстояние и помогает манипулировать с ней, давая средства предвидения в общем виде кривых продажи; с другой — приложение к душе, психоанализ или, в другом случае, метафизические речи о мгновении и вечности. Редко случается, что те, кто имеет средства платить, хотели бы действительно такое за свои деньги, когда нужна научная правда о социальном мире; что же касается тех, кто имеет действительный интерес к раскрытию механизмов доминирования, то они не читают ничего по социологии и, во всяком случае, не могут за неё платить. В конечном счёте, социология — это социальная наука без социальной базы.

Вопрос: Одним из эффектов упадка «позитивистской» социологии было то, что некоторые социологи постарались отойти от сформировавшейся технической терминологии, вводя «лёгкий» и «читабельный» стиль; и не столько для того чтобы облегчить распространение

(идеи), но чтобы противостоять наукообразным иллюзиям. Вы не разделяете эту точку зрения. Почему?

Пьер Бурдьё: Рискую показаться высокомерным, я сослался бы на Шпитцера и на то, что он сказал о Прусте. Думаю, если оставить в стороне литературное качество стиля, то же самое, что Шпитцер говорит о стиле Пруста, я могу сказать и о моём письме. Он говорит, во-первых, что сложное не позволяет выразить себя иначе, как сложно; во-вторых, что действительность не просто сложна, но ещё и структурирована, иерархизирована и что нужно давать представление об этой структуре — если мы хотим воспринять мир во всей его сложности и в то же время иерархизировать и сочленивать, рассмотреть перспективу, выдвинуть важное на передний план и тому подобное, то следует прибегать к этим тяжело артикулируемым фразам, которые практически требуется реконструировать как латинские; в-третьих, эту сложную и структурированную действительность Пруст не хочет подавать как таковую, но даёт одновременно свою точку зрения на неё, заявляя о своём отношении к тому, что описывает. Согласно Шпитцеру, эти скобки Пруста, которые я сравниваю со скобками Макса Вебера, являются местом метадискурса, присутствующего в дискурсе. Именно кавычки или различные формы непрямого стиля выражают многообразие способов вступать в отношения с излагаемыми предметами и людьми, чьи высказывания излагаются. Как обозначить дистанцию между тем, кто пишет, и тем, о чём он пишет? Это одна из главных проблем социологического описания. Когда я говорю, что комиксы — это низкий жанр, то можно понять, что именно так я и думаю. Следовательно, нужно, чтобы я говорил одновременно, что дела обстоят так, но это не я сам так думаю. Мои тексты полны указаниями, направленными на то, чтобы читатель не смог их деформировать, упростить. К несчастью, эти предостережения либо остаются незамеченными, либо делают речь настолько сложной, что читатели, которые читают быстро, не видят ни малых, ни больших указаний и прочитывают, как об этом свидетельствует масса адресующихся мне возражений, едва ли не обратное тому, что я хотел сказать.

Во всяком случае, верно, что я не пытаюсь сделать речь простой и ясной, и считаю опасной стратегией, которая состоит в том, чтобы отказаться от строгости технической терминологии в пользу читабельного и лёгкого стиля. Прежде всего потому, что эта ложная ясность является часто фактом доминирующей речи, то есть речи тех, кто считает всё само собой разумеющимся, поскольку и так всё хорошо. Консервативная речь всегда держится за то, что идёт от здравого смысла. И не случайно буржуазный театр XIX века назывался «театром здравого смысла». А здравый смысл говорит простым и ясным языком очевидного. Далее потому, что производить упрощённый и упрощающий дискурс о социальном мире значит неизбежно давать оружие для опасных манипуляций с этим миром. У меня есть убеждение в том, что одновременно и по научным, и по политическим причинам нужно принять, что дискурс может и должен быть настолько сложным, насколько того требует рассматриваемая проблема (сама являющаяся более или менее сложной). Если люди усвоят по меньшей мере, что «это сложно», то это уже будет обучением. Кроме того, я не верю в добродетель «здравого смысла» и «ясности» — этих двух идеалов классического литературного канона («что хорошо понято, то»... и тому подобное). Когда говорят о вещах столь перегруженных страстями, эмоциями, интересами, как социальные предметы, то выражения наиболее «ясные», то есть наиболее простые, несомненно имеют более всего шансов быть неверно понятыми, поскольку они действуют как прожективные тесты, в

которые каждый привносит свои предрассудки, свои врождённые идеи, свои фантазмы. Если принять следующее: чтобы быть понятым, нужно работать над употреблением слов таким образом, чтобы они не выражали ничего кроме того, что хотели сказать, то можно видеть, что наилучший способ говорить ясно — это говорить сложно, чтобы попытаться передать сразу то, о чём говорят, и отношения, которые поддерживают с тем, о чём говорят, и избегать говорить невольно больше и отличное от того, о чём были намерены говорить».

Социология — наука эзотерическая приобщение к ней очень длительно и требует настоящего пересмотра всего видения мира, но она производит впечатление экзотерической. Некоторые, особенно среди людей моего поколения, были вскормлены на пренебрежении, поддерживаемом философией, ко всему, что касается социальных наук; они читают социологические работы так, как читали бы свой политический еженедельник. И вдохновляются они на это теми, кто продаёт свой плохой журнализм под именем социологии. Вот почему самое трудное — добиться от читателя, чтобы он занял верную позицию, какую он немедленно был бы вынужден занять, если бы оказался в ситуации прозрения — перед статистической таблицей, которую нужно интерпретировать, или перед ситуацией, которую нужно описать — поскольку обычная позиция, которую он прикладывает к анализу, построенному вопреки ей, приводит его к совершению всяческих ошибок. Научные отчёты экономят чьи-то грубые просчёты. Другая трудность: в случае социальных наук исследователь должен считаться с высказываниями неверными с научной точки зрения, но социологически настолько сильными, поскольку многие люди испытывают потребность верить в то, что эти высказывания правильные, что невозможно их игнорировать, если мы хотим успешно защищать правду (я имею в виду, например, все те спонтанные представления о культуре, врождённом даровании, таланте, гении, Эйнштейне и тому подобное, которые распространяются образованными людьми). Это приводит иногда к тому, что приходится «развернуть жезл в другом направлении» или принимать полемический или иронический тон, необходимый, чтобы пробудить читателя от его лексического, сна...

Но это ещё не всё. Я не устаю напоминать, приводя знаменитое название работы Шопенгауэра, что социальный мир есть также и «представление и воля». Представление в психологическом смысле, но ещё и в театральном, в политическом, как делегирование, как группа уполномоченных представителей кого-либо. То, что мы рассматриваем как социальную реальность, есть, по большей части представление или продукт представления, во всех смыслах этого термина. А социологический дискурс входит, в первую очередь, в эту игру, и с той особой силой, которую ему придаёт научный авторитет. Когда речь идёт о социальном мире, то говорить авторитетно — значит делать: если, например, я авторитетно заявляю, что социальные классы существуют, я в значительной степени способствую тому, чтобы они существовали. И даже, если я довольствуюсь тем, чтобы предложить теоретическое описание социального пространства и его наиболее адекватного деления (как это сделано в «Различении»), я тем самым вызываюсь в действительности породить на свет — сначала в головах агентов, «в форме категорий восприятия и принципов видения и деления — логические классы, которые я сконструировал для обоснования распределения на практике, И это тем сильнее, что такое представление — и это ни для кого, не секрет — послужила базой для новых, социально-профессиональных категорий, выделяемых Национальным институтом статистических исследований и экономики (INSEE), и таким

образом, нашло подтверждение и гарантию со стороны Государства...

Не исключено, что некоторые из моих классификационных терминов когда-нибудь будут фигурировать в удостоверении личности... Всё это сделано, как Вы понимаете, не для того чтобы отбить желание реалистически и объективистски читать социологические работы, которые тем сильнее подвержены такой угрозе, чем более «реалистичны» и чем лучше их членение, в соответствии с платоновской метафорой, воспроизводит сочленения реальности. Следовательно, слова социолога способствуют производству социального. Социальный мир всё более и более населяется реифицированной социологией. Социологи будущего (но это относится уже и к нам) всё больше будут, открывать в изучаемой ими действительности осадочные продукты от работ своих предшественников.

Понятно, что социолог заинтересован в том, чтобы взвешивать свои слова. Но это ещё не всё. Социальный мир есть место борьбы за слова, которые обязаны своим весом — подчас своим насилием — факту, что слова в значительной мере делают вещи, и что изменить слова и, более обобщённо, представления (например, художественные представления Мане) значит уже изменить вещи. Политика, в основном, дело слов. Вот почему бой за научное познание действительности должен почти всегда начинаться с борьбы против слов. Таким образом, очень часто для передачи знаний нужно прибегать к тем самым словам, которые нужно уничтожить, чтобы завоевать и построить это знание — можно видеть, что кавычки мало что значат, когда речь идёт о том, чтобы отметить подобное изменение эпистемологического статуса. Я мог бы в таком духе продолжать говорить о «теннисе» в терминах работы, которая приведёт к тому, что на воздух взлетят все предположения, вписанные в такую фразу, как «теннис демократизируется». Она опирается, помимо прочего, на иллюзию постоянства номинального, на убеждение, что реальность, которую обозначало это слово 20 лет назад, остаётся той же, как та, которую это же слово обозначает сегодня.

Когда речь идёт о социальном мире, обычное использование обычного языка делает из нас метафизиков. Привычка к политическому вербализму и к овеществлению коллективов, в чём много практиковались некоторые философы, приводит к тому, что паралогизмы и силовые логические приёмы, скрытые в самых тривиальных выражениях повседневной жизни, проходят незамеченными. «Общественное мнение благосклонно относится к повышению цен на бензин». С такой фразой соглашаются, не задаваясь вопросом, может ли существовать такая штука как «общественное мнение» и как. Тем не менее, философия научила нас, что имеется масса вещей, о которых можно говорить и без их существования, что можно произносить фразы, имеющие смысл («Король Франции лысый»), но не имеющие референта (короля Франции не существует). Когда произносят фразы, имеющие своим субъектом Государство, Общество, Гражданское общество, Трудящихся, Nation, Народ, Французов, Партию, Профсоюз и тому подобное, подразумевают, что обозначаемое этими словами существует, так же, как говоря, это «Король Франции лысый», предполагают, что есть король Франции, и что он лысый. Каждый раз, когда суждения существования (Франция существует) скрываются за предикативными высказываниями (Франция большая), мы поддаёмся онтологическому смещению, которое заставляет переходить от существования имени к существованию названной вещи. Смещение тем более вероятное и опасное, что в самой действительности социальные агенты борются за то, что я называю

символической властью, узаконенное право каковой на конституирующую номинацию, которая порождает, называя, есть одно из самых типичных проявлений. Я удостоверяю, что Вы профессор (это документ, подтверждающий профессиональную пригодность) или больной (это справка о болезни). Или, ещё более сильно, я удостоверяю, что пролетариат или провансальская нация существует. Социолог может попытаться войти в эту игру и иметь последнее слово в словесной схватке, говоря, чему соответствуют вещи в реальности. Если, как я это предполагаю, на долю социолога и выпадает собственно описание логики борьбы по поводу слов, то понятно, что у него будут и проблемы со словами, которые он должен использовать, чтобы говорить об этой борьбе.

Примечания

1 См. на русском языке: Т. Кун. Структура научных революций. — М., «Прогресс», 1975.

2 Элитарный социолог (англ.).

Версия #2

Зверобой создал 18 января 2026 03:43:03

Зверобой обновил 18 января 2026 04:06:15